

«ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ» КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Альмира Усманова, Андрей Горных

Визуальная антропология советской культуры – так звучала тема очередного междисциплинарного семинара по визуальным исследованиям, который проходил на факультете философии Европейского гуманитарного университета в течение 2001–2002 гг. и продолжился в текущем учебном году. Начиная с этого номера, мы представляем вниманию читателей лучшие доклады из числа тех, что были представлены и обсуждены участниками семинара. Предлагаемое ниже введение к рубрике первоначально было предложено участникам семинара в качестве тезисов для обсуждения программы встреч. Нам казалось, что такого рода “декларация о намерениях” важна еще потому, что задача переосмысления советской визуальной культуры является довольно сложным предприятием для тех исследователей, кто в силу своего молодого возраста уже не “помнит” советского образа жизни, голливудские фильмы знает лучше, чем советскую классику, а представление о советской ментальности и истории черпает преимущественно из доживших до наших дней анекдотов или различных художественных, литературных и телевизионных проектов (от Кабакова и Пелевина до программы “Куклы” и римейков на советскую киноклассику).

Что это было?

Метаморфозы, произошедшие с ментальностью и культурой постсоветских людей, и радикальные трансформации его повседневного мира невозможно понять без тщательного изучения генеалогии советского субъекта. Тем более что новобуржуазный и как-бы-демократический образ жизни 90-х на глубинном подсознательном уровне остается неуловимо советским, – в практиках потребления, образе мышления, мнемонических техниках, формах проведения досуга, культурных пристрастиях, этикете, формах восприятия Иного¹.

Крылатое выражение шестидесятых годов – “Образ жизни, – советский!”, возвестившее о преодолении классовых и национальных различий через завершившееся формирование нового человека², представляло собой нечто большее, чем риторический прием советской власти: к этой фразе следовало бы отнести антропологически и попытаться выявить составляющие этого образа жизни. У позднего социализма была своя логика, если переиначить термин Ф. Джеймсона (применительно к культурной логике позднего капитализма), – и эта логика

была *видна*. Глобализация по-советски приобрела невиданный размах в последние десятилетия советской истории. Ее конституирующей чертой являлась ужасающая и удручающая гомогенность³, унифицированность повседневной жизни, воспоминания о которой бередят душу как “колбасных” эмигрантов начала 90-х гг., для которых вся история Советского Союза “слиплась” в одну бесконечную очередь; так и самых идейных в прошлом представителей рабочего класса или крестьянства, видевших бананы лишь по очень большим праздникам. “Глобализм” советской культуры означал, что и в России, и в Узбекистане, и в Беларуси пили одну и ту же газировку, смотрели одни и те же индийские фильмы, ели одну и ту же котлету “По-киевски”, отпуска проводили в одной и той же “всесоюзной здравнице” и носили платья и пиджаки одного и того же покроя, а “Советское Шампанское” и “мясной салат” считали неперемненными атрибутами новогоднего праздничного стола. Глобальным был и товарный дефицит, породивший так называемый “вещизм” – форму товарного фетишизма, восторженного преклонения перед вещью, которую было трудно достать (вещью, которую либо привезли “оттуда”, либо “достали” здесь), которая значила больше, чем трудовые достижения или социальные регалии.

Индивидуальный стиль в одежде или поведении или же любые другие внешние формы саморепрезентации (как способ самовыражения и индивидуализации) противоречили идее формовки “коллективных тел”, имплицитно заложенной в лозунгах официальной пропаганды. “Волшебные вещи” (привезенные с Запада или приобретенные по блату) радикальным образом компрометировали идеологию советского строя, но никакие экономические решения и политические мероприятия не могли устранить этот “смутный объект желания”. Однообразие и серость “витрины” социализма самими обитателями советского рая если не осознавались, то, по меньшей мере, ощущались: не случайно любое микроизменение-приобретение в этом униформном мире (японский магнитофон, американские джинсы, жевательная резинка, немецкий каталог одежды, польская палатка, французские духи, чешский унитаз и т. п. – крайне проблематично составлять список желанных вещей применительно к ситуации, когда не хватало практически всего, но, главное, Другого) воспринималось либо как проявление социального прогресса, либо как демонстрация символического капитала конкретного индивида, показатель его социального статуса.

По мнению ряда исследователей, коммунизм пал не по идеологическим причинам – к такому финалу привела банальная неустроенность в быту. Стихийный капитализм и активность “челноков” (главных персонажей на постсоветской экономической сцене) покончили с эрой тотального дефицита, но травматическое воспоминание о советских практиках потребления все еще живет (в том числе и в атавизмах “советского новояза” – “достать”, “получить (квартиру)”, “блат”, “фирменная вещь”, “фарцовщик”, “иномарка” и т. д.). Думается, что основным (и недостижимым) объектом желания советского

человека был, прежде всего... сам “капитализм” – такой, каким он предстал с глянцевого поверхности привезенных журналов, пластиковых пакетов, этикеток, видеофильмов, открыток и даже переводных картинок. Для многих людей, переживших времена советского дефицита, материальность “железного занавеса”, отделявшего СССР от Запада, заключалась в ярких обложках западных журналов мод. Не демократия, а товарное изобилие выступало главной характеристикой Запада. Стоит ли говорить, что этот виртуальный капитализм, точнее – безусловно позитивный образ мира, где все есть, живший в сознании многих людей позднего социализма, – не имел ничего общего с неприглядными “язвами” буржуазного миропорядка, о которых неустанно твердило советское телевидение: но именно его воображаемый характер придавал ему статус объекта желания. В то же время, самым парадоксальным можно считать то обстоятельство, что именно социализм довел до полного абсурда основную тенденцию буржуазного “общества спектакля” – потребление образов здесь было не просто разновидностью и наиболее современной формой (симулятивного) потребления, но фактически – единственной доступной формой.

Мы есть то, что мы помним

Известная писательница Славенка Дракулич справедливо отмечает, что, если для западных людей “конец коммунизма” стал чем-то само собой разумеющимся, своего рода трюизмом, означающим свершившееся одномоментное событие, зафиксированное масс-медиа (например, падение Берлинской стены в 1989 году), и характеризующим распад прежней системы политической власти и соответствующей ей идеологии, то для людей из Восточной Европы “конец коммунизма” символизирует реальность, еще не наступившую. Коммунизм – это нечто гораздо большее, нежели политический режим, чем идеология, это образ мыслей, способ поведения, бытовые привычки и условия повседневной жизни. Наша идентичность, системы ценностей и верования, способ мышления и поведения – все это не может измениться в одночасье, ибо, как отмечал в свое время Жак Ле Гофф, ментальности – это то, что в истории изменяется медленнее всего.

Мы родились со своего рода “коммунистической” пеленой на глазах: наш глаз видит и сканирует реальность иначе, чем у людей, родившихся в другое время и при других политических режимах. Труднее всего оказалось разрушить тот занавес, который “соткан” из нашей памяти (несмотря на то что феномен коллективной амнезии, сознательного и бессознательного вытеснения травматического прошлого⁴, напоминает о себе вот уже в который раз за последние сто лет – сначала советские люди пытались забыть жизнь до революции, потом – жизнь при Сталине и теперь – вообще все советское). В некотором смысле, именно память советского человека, а не циничные государственные институты и бездарные политики “ответственны” за то, что в Беларуси, например, “образ жизни –

советский” контаминировал самым неудачным образом с нарождающимися (возвращающимися?) капитализмом и “демократией”. “Места памяти” советского человека многочисленны и разнообразны, но они также зачастую хрупки и ненадежны (исключением являются гранитные монументы) – их эфемерность определяется природой человеческой памяти: личные версии большой истории со временем окончательно заменяются “уже слышанными и виденными” официальными версиями, почерпнутыми из книг, газет, радио, журналов и с экранов телевидения. Так же очевидно и то, что память склонна к нормализации прошлого, стиранию самых его травматических моментов, селективному сохранению отдельных ситуаций⁵ (в результате чего прошлое неизбежно мифологизируется, обретая черты “золотого века” – не исключено, что и наше видение “советского” несет на себе печать ностальгии по утопии, которая так и осталась в проектах). В то же время остаются личные вещи, аккумулирующие в себе историю отдельной человеческой жизни, остаются семейные фотографии, дневники и тому подобные “технологии” архивации прошлого – где травма так же материальна, как успех или благополучие.

В поле нашего внимания как исследователей, таким образом, оказываются структуры воображения, мнемотехники, основанные на использовании визуальных материалов, и, наконец, сама визуальная культура советской эпохи (в “документах” и памятниках). Основную цель этого семинара можно сформулировать как исследование повседневной культуры советского человека и социокультурные механизмы конструирования (индивидуальной) памяти посредством визуальных медиа. Предполагается, что реконструкция истории может быть осуществлена как через создание “ситуации речи” конкретного индивида (связанного с Большой Историей своей индивидуальной биографией), так и по ее видимым репрезентантам – кино, телевидение, фотографии, плакаты и др. артефакты. В конечном счете речь идет о материализации исторической памяти и ее синхронизации с видимыми (и потому так же материальными) следами истории.

В числе вопросов, на которые хотелось бы ответить, можно выделить следующие: Как (и кем) формировался и как воспринимался образ социалистического мира, о “глобальности” которого говорилось чуть выше? Какую роль в материализации фантазмов играл политический дискурс? Из чего и как возникали “объекты желания”, исходя из каких структур “видимого мира”? Какую функцию в формировании “коллективного воображаемого” (как конституирующего элемента идентичности) выполняли образы, продуцируемые телевидением, кино, модными журналами и другими визуальными практиками популярной культуры? Что оставалось в памяти и сохранялось (выборочно) в архивах культурной истории? Чья культура была репрезентирована, а чья – репрессирована и вытеснена? Насколько и почему был продуктивен запрет? Из каких слагаемых конституировался “образ Запада”? Нужно ли упрочивать “сознание исторической непрерывности” и тем самым поддерживать идею национальной

идентичности, что, как известно, является неотъемлемой чертой модернизма?

Попытка реконструкции “мироощущения советского человека” через анализ его репрезентаций в советской визуальной культуре — это ни в коем случае не искусственная реанимация советских ценностей и марксистско-ленинской идеологии. Культурная однообразность (что, впрочем, может быть воспринято скептически в связи с относительностью этого тезиса) и экономическая бедность “совка” — предмет для анализа, но не ностальгических воспоминаний или тем более — политического ретроградства (в виде поддержки нынешних коммунистических деятелей⁶). В то же время литература, кино и в особенности современное концептуальное искусство извлекли, кажется, максимум прибыли из эксплуатации ностальгических реминисценций по советскому образу жизни.

Наш семинар — не очередная попытка извлечь прибавочную стоимость из образа “советского”. Речь идет, скорее, о желании освоить эту культуру в терминах своего языка: помимо элементарного знакомства с советской визуальной культурой и ее историей (что вполне актуально для тех, кто не застал “совок” в его аутентичном виде и “вынужден” довольствоваться его телевизионными репрезентациями), мы планируем систематическое освоение различных подходов и методологий анализа, концептуальный ресурс которых в отношении интересующего нас феномена еще не вполне раскрылся.

Смысл термина “антропология” предполагает не только и не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа существования этого человека (как человека советской эпохи), совокупность ритуалов и повседневных практик, сформированных данным сообществом людей. Другой немаловажный аспект (отмеченный в свое время К. Леви-Строссом, В. Тэрнером и другими культурными антропологами) заключается в продуктивном “отсращении” от своей культуры при попытке понять “чужую” — а ведь советская культура для нас уже стала во многом “чужой”: не столько по причине пространственной и лингвистической дистанции, а за счет дистанции временной, исторической — эта культура для нас существует теперь преимущественно в оставшихся после нее материальных свидетельствах и “отпечатках” (среди которых фильмы и фотографии занимают далеко не последнее место; если бы не они, как иначе мы могли бы исследовать память — эфемерную, ускользающую и изменчивую?).

Для обсуждения интересующих нас вопросов и проблем участникам семинара был предложен перечень вопросов и тем, который мы приводим ниже:

Репрезентация и история: «советское» как образ

- Проблема историчности Воображаемого: феноменологический и психоаналитический подходы
- Конструирование исторической памяти: “места памяти” (П. Нора) и советские монументы
- “Тотальная история” (М. Фуко) советской культуры: диалектика континуального

и дискретного или что общего между 30-ми и 60-ми гг.?

- “Феноменология восприятия” социалистического мира: к вопросу о возможностях и границах феноменологического метода
- “Визуальная история”: кино как источник или способ написания истории? (М. Ферро, Х. Уайт)
- “Под властью Логоса”: тоталитаризм в культуре — это вербальный или визуальный феномен?
- Логика цензуры и продуктивность запрета: механизмы советской цензуры в киноиндустрии (политические, бюрократические, финансовые, художественные)
- “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно”: дискурс марксизма в устах политика и глазах обывателя

Визуальный язык советского кинематографа

- Как действует пропаганда и насколько эффективной была советская идеологическая машина? Об идеологических эффектах “базового кинематографического аппарата”
- Интеллектуальный монтаж и перспективы неоформалистского анализа
- Соцреализм: стиль VS идеология
- Нарративные модели советского кинематографа
- Flashback: практики субъективации и конструирование памяти посредством кинематографа
- Кинематографическая норма (Ю. Цивьян) и проблемы исторической рецепции: классовый, гендерный и этно-национальный факторы восприятия
- От сценария к фильму: поиск кинематографической формы в условиях примата Слова над визуальностью

“Полевые исследования” жизни советского человека

- “Образ жизни — советский!”: визуальная поверхность советской культуры
- Публичное и приватное в жизни советского человека
- Логика симулятивного потребления: реклама в эпоху тотального дефицита
- Глобализация по-советски
- История в музеях и “архив” советской культуры
- Большая и малая истории в семейных фотоархивах
- Советские города: “жилищный вопрос”, урбанизм и модернизация, архитектурные образы “совка”, политика именования (кинотеатры, кафе, улицы и пр.) и практики увековечения памяти
- Гендер как эффект репрезентации в сталинской культуре
- Дебаты о культуре и “новом человеке”: диалектика базиса и надстройки
- “Современность” и специфика процессов модернизации в СССР
- Коммунальная культура и безытность советского человека
- Воспитание “гегемона”: культурная среда рабочего класса
- “Кино вместо водки”: проблема мужского алкоголизма и ее репрезентация в советском кино

Примечания

¹ Когда один известный американский журнал в номинации “человек года” за 2002 год назвал имена трех американок, заслуга которых перед страной заключалась в том, что они “заложили” своих начальников, заявив куда надо об их финансовых злоупотреблениях, этот случай широко обсуждался в массовой российской прессе: считать ли их поступок достойным подлинного гражданина и патриота своей страны (ведь, возможно, на этом уважении к государству

базируется эффективность всего западного капитализма), или же обыкновенным “стукачеством” — большинство читателей газеты “Известия” сошлись на том, что для человека, не понаслышке знающего о вреде доношительства (как это было в сталинские или даже брежневские времена), подобный жест может быть квалифицирован не как уважение к своему государству и его законам, а следовательно, и забота о налогоплательщиках, а все же как подлый, этически неприемлемый для “нашего” человека поступок. Иначе говоря, эта дискуссия лишней раз убеждает нас в том, что “советское” продолжает жить в нашем индивидуальном сознании и коллективной памяти, и, скорее всего, отдельные составляющие этого мировоззрения и нравственности сохраняются и в будущем, несмотря на агрессивное развитие постсоветского капитализма (еще и потому, что нередко эти ценности в массовом сознании воспринимаются как особенно национальные менталитета — пресловутая славянская душа, которую Запад не способен постичь). Что это за ценности? Можно спорить об их национальном или религиозном происхождении, но идеалы гуманизма (в смысле “человечности” — в условиях “бесчеловечного” режима), коллективизма, альтруизма, способности к сочувствию и самопожертвованию (героическому поступку ради Идеи), а также презрения к деньгам (во всяком случае, амбивалентного отношения к ним) все еще актуальны в нашем обществе, несмотря на все радикальные трансформации последнего десятилетия.

² Интересно, что писатели и публицисты 90-х гг. дружно настаивали на необходимости формирования другого “нового человека” — не советского или даже антисоветского.

³ Парадоксальным образом “самая демократическая страна” — США — все больше напоминает коммунистический лагерь в смысле однообразности повседневных привычек, стиля одежды и потребления вообще, а также идеологической “оболванности” масс — по крайней мере, такое впечатление она нередко производит на многих постсоветских туристов (при этом не обязательно интеллектуалов).

⁴ В связи с этим вспоминается молодой немец (из фильма Вольфганга Беккера “Гудбай, Ленин!”, 2002 г.), переехавший из ФРГ в бывший восточный Берлин, который в ответственный момент знакомства с матерью главного героя, страдающей амнезией и потому “живущей” в социалистическом прошлом Германии, начинает (неожиданно для себя самого) использовать нацистскую лексику для описания своего якобы пионерского детства. Нацизм и социализм — двойная травма восточного немца, вытесненная, но не устранимая в принципе из памяти и проявляющаяся в таких лингвистических ляпсусах.

⁵ По справедливому утверждению британского историка Джона Брюэра, в его реконструкции собственной Эго-истории, просто удивительно, с какой готовностью память пытается вытеснить все то, что человеку в момент реконструкции прошлого кажется неприемлемым, что хотелось бы забыть и вписывать в свой жизненный “нарратив” (см.: Brewer John “New Ways in History, or, Talking About My Generation”, in *European Ego-histoires: Historiography and the Self, 1970 — 2000* (Special volume of *Historia*. A Review of the Past and Other Stories (Athens: Nefeli Publishers, 2001), p. 7).

⁶ Славой Жижек, посвятивший несколько работ феномену Ленина, указывает на то, что, впервые услышав об этой идее — исследовать наследие Ленина “объективно и непредвзято” в условиях современного капитализма, — многие отреагировали на это, чуть ли не повертев пальцами у виска. Поскольку Ленин для нынешнего интеллектуального сообщества выступает как человек, материализовавший коммунистическую задачу — построения социализма, построивший самое бесчеловечное общество и в конечном счете — испортивший репутацию марксизма как интеллектуального течения, следовательно, именно о нем лучше сегодня вообще не вспоминать. Примерно в этом же ключе может быть воспринято и стремление понять советскую культуру в ее “позитиве” — когда даже школьник сегодня знает о том, сколько несправедливости, зла и преступлений против людей было совершено в советское время.